

### Из истории поэтической героики Е.И. Кострова

---

Поэтическая героика была основой литературного процесса в России XVIII века. Идеология русского классицизма восходила как к образцам древнерусской литературы и фольклора, так и к европейской литературе XVII-XVIII вв, а также к античной культуре, воспринимаемой как напрямую, так и через новейшие европейские переложения античной классики.

Сопоставление русских героев с античной героикой в поэзии XVIII века достигло, пожалуй, высшей точки развития в творчестве Ермила Кострова, прежде всего — в его переводе «Илиады», опубликованном в 1787 году с предварявшим издание стихотворным посвящением Екатерине. Поэт обращается к Екатерине с речью о её героях:

Под сению твоих бесчисленных эгидов  
Ахиллов зрели мы, Аяксов, Диомидов,  
Со именем небес, со именем твоим  
Стремивши молнию в Стамбул и буйный Крым...

Да, таврическая эпопея пробуждала ассоциации с античной историей, и без того весьма частые в русской поэзии с поманосовских времен. Сопоставлению греческих мотивов в русской поэзии с политическими событиями тех лет посвящено немало страниц в исследовании А. Зорина<sup>1</sup>, на наш взгляд, с излишним максимализмом ставящего греческий проект в центр такого сложного и многообразного явления, как имперская идеология того времени, но нас интересуют прежде всего преломления поэтической героики. И, конечно, приближения имен Ахилла, Диомеда и др. к русской современности, предпринятое Е. Костровым, было важным фактором для героической поэзии тех лет.

Ермил Иванович Костров — поэт, по большому счету, всё свое твор-

чество посвятил героике и армейской теме. В этой преданности раз и навсегда избранной военной теме напрашивается аналогия, возникающая в историко-литературной перспективе между Е.И. Костровым и поэтом XX века Константином Симоновым. Заметим, что и для Симонова, и для Кострова большое значение имела суворовская тема — тема, связанная с самым разработанным героическим военно-патриотическим мифом в российской культуре. Ярким отличием Кострова, связанным со спецификой его эпохи с ее литературным этикетом и культурными задачами, является приверженность Ермила Ивановича античным мотивам, связь которых с российской почвой стала контрапунктом поэзии Кострова. Сама постановка этого вопроса, свойственная Ермилу Кострову, заставляет вспомнить положения докторской диссертации А.Н. Веселовского, в которой великий учёный на примере образцов фольклора и письменной словесности применил историко-сравнительный метод исследования аналогичных процессов, происходивших в разных культурах<sup>2</sup>.

Обращения к образам античной героики — а за этими образами стояла огромная художественная сила и почитание десятков поколений читателей мира — были свидетельством бурного развития русской героической поэзии. Вступая в период своей зрелости, она систематизировала мировой опыт. И оказалось, что русский Ахилл и русский Одиссей существуют, могут стать фактами отечественной культуры. В этом смысле значение костровского перевода трудно переоценить.

Ермил Костров перелagal на русский язык влиятельнейшую поэтическую героику, знаковую для XVIII века: «Илиаду» и макферсоновские песни Оссиана (перевод «Оссиана, сына Фингалова, барда третьего века...» был издан в 1791 году). Был для поэта близкий по духу герой и среди современников — А. В. Суворов. Костров одним из первых стал воспевать этого не слишком приближенного ко двору полководца в восторженных стихах, посвятил полководцу и сокровенное своё творение — перевод песен Оссиана. Большую роль в суворовской поэзии Кострова сыграло и личное знакомство с полководцем, который оказывал поэту покровительство, а костровские переводы из Макферсона возил с собой во всех сражениях (любопытно как проявление закономерностей исторической героики, что макферсоновские песни Оссиана возил с собой в походах и генерал Бонапарт, младший современник Суворова). Сам Костров в письме от тридцатого сентября 1792 года писал о своем переводе Суворову: «Я не столько горжусь добротой перевода, много есть лучше меня переводчиков, сколько тем, что он украсен и возвышен знаменитым Вашим именем»<sup>3</sup>. Сам А.В. Суворов — тонкий ценитель героики во всех её жизненных и культурных проявлениях — гордился костровским посвящением «Песен Оссиана» не меньше, чем самыми пространными одами в свою честь.

Перевод песен Оссиана и перевод «Илиады» — эти достижения Кострова полны важного историко-литературного смысла. Процесс, который они отражают, можно назвать процессом обратной связи меж-

ду литературной реальностью и реальностью исторической. Сначала культура перенимает античную героику как пример, по которому строится и литературное творчество, и сложение характеров героев. Затем поэты (как Ермил Костров) в своих переложениях античного эпоса используют как образы оригинала, так и родные, российские, образы — и осада Илиона сливается в художественном целом с осадой Очакова, Измаила, Бендер. А следующее поколение героев и поэтов, в свою очередь, пользуется наработками Кострова и поэтов его поколения и в качестве переложения античной героики, и в качестве патриотического свидетельства о русском героизме конца XVIII века. Эту практику перенял и Гнедич, чей перевод «Илиады» содержит картины, заставляющие нас вспомнить защиту Прейсиш-Эйлау и Смоленска, гибель Багратиона, рейды Платова, упорство Раевского и Коновницына, партизанские вылазки Давыдова и Василисы Кожинной, уподобленных Диомеду и Одиссею... Различные пласты исторической и литературной героики существуют в культуре в режиме взаимного влияния; переводческая деятельность Кострова и Гнедича (да и переложения известных сюжетов, принадлежащие перу Сумарокова) лучше всего подтверждает эту закономерность.

История взаимоотношений Ермила Кострова и его героя, Александра Васильевича Суворова, отраженная в стихах и письмах, показательна как развитие архетипа взаимоотношений героя и поэта, его воспеваящего. Суворов вносит в традицию новый мотив: герой отвечает поэту поэтическим же приношением. Мы рассмотрим подобное развитие сюжета по линии «Суворов — Державин», но это характерно и для костровской линии в наследии А. В. Суворова. Усложнение (шедшее по линии сближения) взаимоотношений поэта и героя вообще свойственно русской героике конца XVIII века, когда образы реальных героев были особенно яркими, а поэты с огромным вниманием относились к тому, что происходило в политической жизни. Суворов и Костров как соавторы интересной в историко-литературном отношении переписки — это еще одна тема, раскрывающая особенности героики того времени.

Костров посвящал Суворову поэтические произведения, написанные в разных жанрах. Отметим письмо от 30 сентября 1792 года, в котором поэт признается Суворову: «Получить похвалу от Героя и от справедливого дарований судьи есть счастье для всякого завидное и тем более, что я, посвящая Вашему Сиятельству посильный мой труд, руководим был одним только достодолжным высокопочитанием к такому подвижнику, которого имя и потомству будет любезно, драгоценно, восхитительно»<sup>4</sup>. В эпистолярном жанре Костров комментирует свою героику, напрямую называя Суворова ее Героем; так историческая реальность входит в художественную. Далее Ермил Костров предваряет поэтическое приношение комментарием: «Я смело могу сказать»<sup>5</sup>. И письмо продолжается строфами:

«Суворов почестей чрез подвиги достиг И грудью собственной тро-

фей себе воздвиг; Не зная, что праздность есть, его отлична доля, Он любит бодрствовать средь бранноносна поля».

Здесь — пусть и не в такой гармонии, как в позднейших стихах Державина — мы видим введение в поэзию реальных черт характера Суворова и преданий о нем. Так, Кострову известна одержимая преданность Суворова военному делу, его привычка не спать в дни больших сражений. Далее поэт пишет:

«Сын славы, чести сын, воспитанник побед, Он правотой души в восторг приводит свет. Не раболепствует он счастию слепому, Но к славе по пути он шествует прямому».

Костровым отрицаются наветы на Суворова как на «счастливица». Надо думать, этот полемический образ Кострова был Суворову особенно дорог: сам он не раз отмахивался от «доброжелателей», объяснявших суворовские победы одним «счастьем». «Был счастлив, потому что повелевал счастьем», — А.В. Суворов сформулировал этот принцип не без помощи окружавших его поэтов, в том числе — Е.И. Кострова. Поэт доказывает закономерность успехов полководца:

Так я, поя ему парнасские хвалы,  
Ужели заслужу завистный яд хулы?  
Что мирный звук гласит, о том весь свет вещает,  
И струны он мои конечно оправдает.

Финал стихотворения — элегантно придворный комплимент, развивающий известный мотив: «Вы совершенны, и в моих похвалах не нуждаетесь»:

Героям не нужна ученых хитра лесть:  
Их собственны дела им достожджна честь.

В этом стихотворении Костров предпринимает знаменательную попытку осмыслить суворовский феномен в контексте героики как культурного явления. Особенно импонирует Кострову правдивость Суворова, его прямота, честность. Это не только честность перед людьми, перед обществом, здесь можно говорить о честности перед эстетикой героики. Костров, прекрасно разбиравшийся в природе героического мифа, понимал, насколько важным героем в российском культурном пространстве являлся Суворов. В эпистоле Суворову «На взятие Варшавы» (1795 г.) Костров усложняет образ героя, выполняющего повеления премудрой царицы. Строки Кострова выражают это соотношение с классической полнотой:

«Вняв радостную весть Миневра кротким слухом, Без удивления, как божество, рекла: «Преславных подвигов горит Суворов духом, Я от Суворова иного не ждала...»

Костров видит в Суворове достойного продолжателя героических традиций античной Греции и Древнего Рима. У Кострова образ Суворова лишен трагизма; это — победитель, славный герой-богатырь, мудрый и надежный. Особенно ярко суворовский образ у Кострова прояс-

няется репликой Екатерины (русская императрица, по традиции, уподобляется Миневре): «Я от Суворова иного не ждала...» Заметим, что Державин нередко преподносит Суворова в конфликте с худшей частью общества, если угодно, с обывательщиной. Мир героики Кострова гармоничен, в нем не находится места интригам против великого полководца.

Благодаря Кострова за поэтический отклик на взятие Варшавы в 1794 году, Суворов в апреле 1795-го года откликнулся письмом, в котором было и его, суворовское, пасхальное поэтическое приношение Ермилу Кострову. В этом сюжете и Костров, и Суворов являются участниками как героического действия, так и его поэтического осмысления. Суворов подчеркивает просветительскую роль поэта, своими «наставлениями» вдохновляющего героя на подвиги:

...К их доблестям других примером ободряют.  
Я в жизни пользуюсь, чем ты меня даришь,  
И обожаю все, что ты в меня впришь.  
К услугам общества, что мне не доставало,  
То наставление твое в меня вливало.

Поражает то, как точно и Суворов, и Костров осознавали свои роли в героике, в процессе совершения подвигов, их идеологического фундамента и последующего художественного воплощения. Суворов завершает свое поэтическое послание Кострову похвалой, основанной на авторитете античных поэтов — подобно тому, как Костров ставил Суворова в один ряд с героями той же мифологизированной культуры:

Вергилии, Гомер, о! естли бы возстали,  
Для превосходства бы твой важный слог избрали.

Отвечать поэтам поэтическим посланием было для Суворова частью его этикета, этикета героя. И Александр Васильевич чувствовал себя на этом поле как рыба в воде! Если сам он — герой Оссиана и Гомера, а Екатерина — Миневра, то Костров, по милости Суворова, вовлекается в круг поэтов классической античности... Многозначительное, пропитанное мифологическим мышлением, литературное поведение было частью «творимой легенды», которой Суворов осознанно становился. Об этом феномене развития личности, имеющем прямое отношение к истории литературы, писал Ю. М. Лотман: «Показательным примером может быть мифологизированная биография Суворова. В построение идеализированного мифа о самом себе Суворов отчетливо ориентировался на образы Плутарха, в первую очередь — на Цезаря. Этот высокий образ, однако, мог — в письмах к дочери или в обращении к солдатам — заменяться фигурой русского богатыря (в письмах к дочери — известной «Суворочке» — стилизованные описания боевых действий разительно напоминают сказочные трансформации боевых действий в сознании капитана Тушина из «Войны и мира», заставляя предполагать знакомство Толстого с этим источником»<sup>7</sup>. М. Ю. Лотман

обращает внимание на историко-литературную значимость суворовской личности, встроенной в культурную традицию, идущую от Плутарха, на ее непрменные отражения в романистике; поэтические отражения героического типа были еще многочисленнее. Далее Лотман, на наш взгляд, справедливо замечает осознанную ориентацию Суворова на «амплуа героя»<sup>8</sup> — непредсказуемого, загадочного, не перестающего удивлять окружающих. Появление таких героев на исторической сцене значительно обогатило и русскую поэзию, повлияло на усложнение системы образов и появление новых — отмеченных ярким талантом — образцов героической поэзии.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Зорин А. Кормя двуглавого орла... Цит. изд. С. 95 — 157.

<sup>2</sup> См.: Веселовский А.Н Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине. СПб., 1872.

<sup>3</sup> Русский архив, 1874, №7. С 5

<sup>4</sup> Жизнь Суворова, рассказанная им самим и его современниками. М., 2001. С. 320.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Суворов А. В. Письма. Цит. изд. С. 293.

<sup>7</sup> Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения... \ \ Из истории русской культуры. Т. 4., М., 1996. С. 558.

<sup>8</sup> Там же.